**ФАБРИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК** (женская версия)

Документальная пьеса в шести монологах[[1]](#footnote-1)

**Действующие лица**

Галина, 1936 г.р., учитель,

Альбина, 1938 г.р., старший мастер

Римма, 1940 г.р., чёсальщица

Светлана, 1940 (?) г.р., токарь

Наталья, 1945 г.р., поммастера

Надежда, 1954 г.р., экскурсовод

**ГАЛИНА: старушки в сундуках**

На фабрике работала ещё моя бабушка Февронья Ефимовна. Я её помню очень хорошо – солидная такая. Перекоп – это революционный центр был. Тут в каждой каморке сидел революционер. В корпусах в основном жили многодетные. Самое малое, если в семье было трое, а то и по 5-7 человек. В каморках жили по три, по четыре семьи, отделённые марлей. Так как бабушка считалась передовой, то она жила у окна, а остальные три семьи уже через марлю.

В корпуса вообще-то страшновато было ходить, особенно людям со стороны. Но ничего никогда не кончалось чем-то неприятным. У меня нет воспоминаний, чтоб склоки, драки, пьянки. Я в любой корпус входила – ничего не боялась, никто меня не трогал никогда.

Нас не трогали: маму уважали. Однажды мама идёт ночью с работы. Она курила, но скрытно, на людях не выставлялась. И вот раз – ей двое преграждают дорогу, уже у дома почти что. «Гражданочка!» – «Слушаю вас». – «А у вас закурить нет?» – «Есть». Открывает сумку, достаёт. Он чиркает спичками: «А-а! Это Третьякова. Не трогать!» Никто не обижал!

Мама работала очень много, я её, по сути дела, не видела. Чтоб с мамой за ручку – такого никогда не было. Когда началась война, мне было 5 лет, а маме 33 года, и она уже была секретарём парткома. Ноша очень тяжёлая. Я даже не представляю, как она могла столько работать.

Но она была очень боевая, крепкая. И при этом такая деликатная. Её жизнь научила быть интеллигентной. Мама была директором фабрики два года, до 40 лет. Ей досталось очень много, и у неё сердце не выдержало просто.

В клубе концерты были, мама меня всегда с собой брала. И там один раз случилась такая драка! Стрельба открылась. Участвовали в ней военные из госпиталя, которые шли уже на выписку. Они имели при себе оружие. И мама бросилась в самую середину к ним! И остановила драку. А они же участники войны. Я боялась, что её убьют.

Воров много было. «Малина» была во флигеле, мы за ними смотрели в окно.

И у меня брат попал в эту «малину». Воровать не воровал, но, как говорили раньше, в «малину» был вхож. И мама его в 16 лет отправила в Ленинград, в спецшколу юнг. После он служил на флоте в Севастополе. То есть мама его спасла от тюрьмы, по сути дела.

В войну, я помню, всё время было очень холодно, не хватало тепла. Угол комнаты весь промерзал, и жили мы на кухне. При высоком общественном положении мамы могло бы быть и лучше, но вот так.

Когда наступала зима, многих старушек приходилось спасать. Мама говорила: «Сегодня у меня рейд». И шла по каморкам. Старушки забирались в сундуки – там потеплее, и бывали случаи, что выносили их оттуда уже неживых.

Ещё помню субботники. В туалетах, где замёрзли нечистоты, мама вместе с другими женщинами откалывала лёд. Потом на телеги, на розвальни складывали эти отходы и увозили. К весне так готовились.

Помню налёт один, очень неприятный. Небо всё было освещено такими парашютами. Немцы осветили, чтобы бомбить. Год это был, по-моему, 1942-й, значит, мне 6 лет было, совсем ребёнок. Запомнила, потому что такое всё было яркое.

А один раз летал фашистский самолёт и очень неприятно гудел. Детей было много во дворе, и сразу мальчишки кто камнем, кто чем стали кидать. Протест так выражали, по-своему, по-детски.

У нас в доме бомбоубежище было, и там стояли, как в детском садике, раскладушки такие небольшие. Вот на этой раскладушке закутают – и спишь.

Карточки были во время войны. Помню несколько случаев, когда вытаскивали карточки, и женщины так плакали! Они же все почти многодетные были. А вот придёшь – обязательно накормят. Хоть кусок хлеба да дадут. А в войну ведь каждая корочка была на учёте.

В 3-м классе мы ходили в госпитали с концертами. Мама меня научила петь «Заветный камень», это про Севастополь песня. «Кто камень возьмёт, тот пускай поклянётся навеки…» Я пела, а раненые плакали.

**АЛЬБИНА: под подолом**

Я была маленькая, четыре с половиной года, но я помню ужас эвакуации, в 1941 году осенью. Мама в это время не работала, потому что моей сестрёнке было 4 месяца. От папы уже долго не получали никаких вестей – его призвали, и он учился в Москве в школе радиоспециалистов.

И вот позвонил не папа даже, а его друзья и сказали, что надо эвакуироваться. Комбинат как раз готовился к эвакуации на баржах.

С нами ещё жил племянник, у которого родители погибли, он был нам как брат. И бабушка. И мы с сестрой. И вот мама в 28 лет, одна с такой обузой.

Это был октябрь, уже к ноябрю. И это была последняя баржа. Садились прямо у комбината. Там были в основном женщины – тоже с детьми, со стариками. Но у всех небольшой скарб, а мама притащила даже швейную машинку! И эти женщины на барже маму ругали.

Было очень тесно, сидели впритык и старые, и малые. Дети все плакали. И женщины тоже.

Поплыли вниз по Волге. Возле больших городов всегда бомбили, особенно у мостов. Когда бомбили, бабушка нас прятала под подол. Юбки были длинные тогда. Бабушка молилась: «Только бы всем вместе погибнуть!»

Запасы кончились, и мама с другими женщинами, когда баржа причаливала к берегу, бежала в ближайшую деревню, чтобы сменять там что-то на хлеб и капусту. Бабушка переживала: вдруг она не вернётся, а баржа отчалит.

Уже на реке вставал лёд. И однажды бомба угодила рядом с нашей баржой. Часть оборудования затонула. А нас выгрузили, и мы поехали дальше по железной дороге.

Приехали в Саратов, разместились на вокзале. Очень холодно, пол каменный. Люди лежали на лавках. Многие болели, дети все кашляли, плакали. Стали голодать, вшиветь.

Мама и другие женщины поняли, что надо что-то делать. Они расчертили вокзал вместе с лавками – на квартиры. Записали: квартира такая-то – эти живут, квартира такая-то – другие. Потом составили список тех, кто может работать, и пошли на местный тракторный завод, там делали тогда детали к снарядам.

Маму взяли токарем. Сразу дали карточки, мыло. И люди стали привыкать.

Нам предлагали перебраться в Энгельс – на другом берегу Волги. Это была немецкая вотчина, а всех немцев выселили в Казахстан. Много осталось брошенных домов. Но они были без окон, без дверей. И мы решили остаться на вокзале.

Женщины целыми днями работали. Старики занимались уборкой. Две печурки были на этом вокзале, их топили. А бабушки сидели с детьми. Год мы там прожили. От папы не было никаких вестей.

В 1942 году, в ноябре, его демобилизовали по зрению. Он приехал домой, а квартира заперта. Пошёл к маминым родителям, прямо ночью. «Где мои-то?» – «Так эвакуировались». Бабушка говорила, он был такой голодный, что ел картошку прямо с кожурой.

На другой же день папа поехал за нами. Обратно мы добирались в теплушках. Кто рожал, кто помирал. Ехали очень долго. Пути некоторые были разобраны, их ремонтировали. Набирали дров, чтобы печки топить.

Военное время было, конечно, очень тяжелое. Но мы особо не голодали. У бабушки был огромный сад, мы сажали овощи, фрукты. А ещё мы держали поросёнка. И собирали для него помои. Я помню, как ходила по помойкам. У меня были два ведра из жести. И вот когда я эти ведра несла, там плавали корки мандариновые. Я останавливалась, пальчиком водила по ним, но не решалась взять. Вспоминала, как в Новый год мама подвешивала нам мандарины на ёлку, а мы срезали их ножницами с верёвочек.

В юности мы жили комсомолом! Жизнь была близко, она кипела. Иногда девчонки просят: «Сбегай за капусткой». Я домой: «Мам, дай капустки!» – «Твой комсомол всю капусту у меня съел!» Но даст. Мальчишки сбегают в Лабаз за хлебцем. Мы навернем этой капусты с хлебцем и дальше работаем. Сколько мы на субботниках работали. Придём иной раз в стеклянной вате, все чешемся. Но никакого уныния. Казалось, мы можем всё время работать!

Металл, завод – всё это я любила заранее! И мама, и папа на литейно-механическом работали, и все их друзья. Они собирались у нас и говорили только о заводе. И я всегда хотела работать именно там.

У мамы в литейке я таращила глаза, как огонь вылетал из печки, как носили котёл и заливали детали. Мне тогда казалось, что это пасочки лежат. Было жарко! Рабочие в очках, такие страшные в рабочей своей одежде. Я их боялась.

Я пришла на завод как в родной дом. Родители за меня боялись. Я была интересной, а там – мужской коллектив, женщин – наперечёт.

Меня приставили к старому контролёру, к дедушке, который меня очень добросовестно учил.

Когда я уже работала мастером, я чувствовала себя хозяйкой: мои станки, мои рабочие. Я так любила своих рабочих. Знала все их семьи. Одних – мирила, других – воспитывала. Очень многих спасла от дурных дел. Я была влюблена в свою работу!

**РИММА: чибрики для фрицев**

Когда в 1905 году стачка была на фабрике, казаки сибирские приехали. Посекли моего деда, отрубили голову. И похоронен он, лежит вот под этим памятником.

Горячие все у меня были родственники, горячие. Отец был весёлый, боевой, красивый, баянист. Мама тоже красивая, но папа ещё красивее! Я на папу похожа.

Он погиб 9 сентября 41-го года. А сестрёнка родилась 27-го декабря. Поэтому трое нас у мамы.

Топить было нечем, есть было нечего. Была такая беднота, что я не представляю даже, как это мы выжили. Удивительно, как мы выжили.

Когда была бабушка жива, нам было с ней, конечно, хорошо. Она нас всегда жалела, коленки откроет, всех троих обоймёт: «Сиротинушки вы мои, сиротинушки».

Мама работала в фабрике. Помню, из фабрики всегда приносила коричневый кусочек маленького сахарку. Где брала, не знаю. Мы её всегда так ждали, бегали к проходной встречать. Когда смена кончалась, мы с братом туда. А идут народу-то! Это тысячи шли народу, вот, тысячи! Мы ждём: где наша мама, где мама? И вот она через проходную идёт! Мы такие радые, мы же её редко видели вообще, она всё время работала.

Помню, мама пела ещё песню... Вот, из головы-то вылетают уже мамины-то песни. Они обычно вспоминаются ночью, когда не спится. Какие-то строчки, стихи приходят. Приходится записывать на бумаге, ручку держу под подушкой.

Всё моё детство прошло в мыслях о еде. Всё время хотелось есть, есть, есть хотелось. Не было чего есть. Жили очень трудно.

Вот бабушка нам скажет: «Чем же я вас сегодня буду угощать? А вон чибрики на печке. Полезайте, возьмите по штучке». Чибрики – это такие оладушки из картошки мороженой, перекопанной в поле.

Даже немцы пробовали нашу еду. Два пленных пришли к нам в дом, не запиралась ни калитка, ни крыльцо. У одного рука перевязана через шею грязной чёрной тряпкой.

«Матка, хлебца! На миль, на!»

И вот такой кусочек мыльца держит на ладошке. Наверное, третья часть ладошки.

Мама говорит: «Мыла мне не надо, у нас щёлоку вон целая бадья».

Щёлок – это зола замоченная, бельё стирали золой.

«А хлебца нету. Вот зачем вы убили отца? Сирот оставили».

«Мы не Гитлер, мы не Гитлер».

Мама тогда мне и говорит: «Полезай, Римма, достань фрицам чибриков. Две штучки».

И вот эти два чибрика мама подала им. И они тут же во дворе их съели. Не знаю, поняли они или нет, из чего эти чибрики были. Но съедобные, съели тут же. Ну, и мы тоже ели.

Когда мы в корпус после войны переехали, мама обрадовалась: светло, тепло, потолки высокие. Мы даже не верили. Как в рай попали. Такое было ощущение, что наконец-то будем жить хорошо.

Тут было запросто всё. Ничто не запиралось, не пряталось. Было и веселье, и праздники. Баянисты, гармонисты свои. Встречи были простые, шумные, крикливые. Сама фабрика велела быть крикливым. У меня вон 18 станков в цеху с такими вот барабанами. Кому-то что-то сказать – кричишь. И тебе криком. Всё надо громко.

Ну, бывало и дрались. Мальчишки приходили к девчонкам. А у этих девчонок свои мальчишки, корпусные. Как же, тут не подпускали никого! Тут было всё взято под контроль! Не подойдёт чужой кто-то там зря. Поэтому, конечно, дрались.

У меня у самой первой из класса появилась автоматическая ручка, с резиновой пипеткой – чернила набирать. Все писали пером, а я училась хорошо, вот мне и подарили. А учительница по русскому у нас такая была строгая. И вот она пошла по рядам, увидела у меня эту ручку, отобрала и в окошко выбросила, со второго этажа. Хорошо, ни в кого не попала. Я так жалела! Ведь это был подарок. Он мне был так дорог.

Я всегда читала много. С шести лет меня привели в библиотеку. «Красную шапочку» я первую книжку взяла, а вторая была «Конёк-горбунок». Иду по дороге, читаю. Улица, она длинная мне тогда казалась. До самого корпуса иду, читаю. Вот отчего в очках хожу всю жизнь, потому что читаю. В туалет идёшь с книжкой, под одеяло ляжешь с книжкой. Ой, мама всё время ругалась: «Опять ты с книжкой? Ослепнешь!»

Ну ничего, вот, жизнь прожита, 81 год, слава Богу. Теперь мне кажется, может, уже и хватит жить-то? А?

**СВЕТЛАНА: только имя**

Документы у меня на 20 июня 1940 года. Но это липовая дата рождения. Так-то у меня её нет. В 1948 я пошла в школу, и мне сделали документы, поставили 1940 год. А когда я сюда приехала, у меня была справка "от 3 до 5", и это был 1942 год. Поэтому сколько мне лет, я не знаю. Но живём, ничего страшного. Фамилию свою настоящую тоже не знаю. В документах стоит фамилия женщины, которая меня к себе взяла, тут, в Ярославле. Только одно имя осталось – Светлана. Больше ничего нет.

Дороги я не помню. Только помню всё время почти – стук-стук, стрельба какая-то. На станции Всполье мы остановились. Вагон был товарный, он сверху открывался. И вот представьте – вдруг в вагоне вверху появляется свет. Я только солнышко увидела, больше уже ничего не видела. Не видела, как выводили больных детей, как умерших выносили. Меня тоже вывела какая-то женщина.

Ничего не помню. Только знаете, что у меня осталось? Когда меня выводили, я шла по людям, а вокруг стоял стон. Очень тихий, но протяжный. Этот стон я потом всю жизнь как будто слышала. Всю жизнь он мне о чём-то напоминал. Несильный такой, далёкий.

В справке написано, что я была взята на воспитание Трохановой Юлией Андреевной, которая работала на комбинате «Красный Перекоп». Я её потом бабой Юлей звала. Помню, как в первый день она мне сказала вечером: «Повернись на бок и спи». А что до этого было в тот день – ничего не помню.

Баба Юля была неграмотная, работала на фабрике простой ровницей. Но она была хорошая. У неё муж был на войне, а над кроватью висел снимок ребёнка, похороненного в гробике. Я этого тогда не понимала. Долго-долго этот снимок помню.

Сколько можно сказать «спасибо» Ярославлю? Сколько лучей у солнышка. Потому что спас. А ещё меня спас корпус. Не помню, как я туда попала. Печи помню большие. Комбинат работал в три смены, и печи эти топились круглосуточно. На них с двух сторон чугунки ставили, горшочки какие-то. Хлеба не помню никогда в то время. На кухне стоял стол и две скамейки. И вот мне место нашлось тут, на скамеечке на этой. В корпусах многие были из сельской местности. Что-то им присылали из дома, какие-нибудь морковинки. И вот у кого немножко было, сварят и мне дают, если я там крутилась. Старались не то что накормить, и не было ведь, чтобы вдоволь накормить-то, просто поддержать.

И вот я прибилась к этому корпусу. Мы с бабой Юлей даже поселились там, в одной каморке, у двери. Но когда война закончилась, к соседям пришёл больной отец их, безногий, и нас с бабой Юлей выселили в барак.

А ещё садик меня спас. До 8 лет я там жила круглые сутки, всю неделю. Домой мы не хотели, в садике кормили хоть.

Очень голодно было, ведь за нас, блокадных приёмышей, ни грамма не давали. И за 2-3 дня до получки у нас дома просто нечего было есть и негде было взять.

Я начала зарабатывать хлеб с 7 лет. Стали меня соседи по бараку просить с детьми посидеть: «Светланка, вот тебе ключик, там я спать уложила, посиди». За тарелочку супа или кусочек хлеба. Или чайку дадут попить. Грудные, только народившиеся. Был один мальчик, Володя, с которым я сидела постоянно. Раньше не платили за то, что ты с детьми сидишь, только бы покормили.

Соседи знали, что у нас нет еды, и иногда просто говорили: «Светка, там суп остался вчерашний, попробуй, не прокис ли». И я весь съедала.

Мы привыкли голодать, наше поколение. Но мы никогда не просили, не ходили с протянутой рукой, нет – это молчок. Сидели, пока что-нибудь не дадут.

После войны помню очереди за хлебом. Потом появился сахар – и за сахаром. Бывало, спишь – и вдруг закричат в коридоре. Привезли что-то. И мы все вскакиваем и ночью бежим в очередь. Время трудное было. Но, наверное, в России только такое и было всегда.

**НАТАЛЬЯ: мамина тетрадка**

У меня в руках тетрадка моей мамы. Она для своих детей и внуков написала воспоминания в 2005 году, ей тогда 80 лет было. Маму звали Литвинова Роза Семёновна, по крещению – Раиса. Роза – в честь Розы Люксембург. Год рождения – 1925 год. Её записи начинаются так: *«Пока память мне не изменяет, надо вспомнить о далёком и записать».*

Мама писала в своей тетрадке, что её дед и бабушка с отцовской стороны были родом из Подмосковья. Мой прадед – Птицын Иван Михайлович – был очень властного характера, прабабушка Мария Степановна находилась у него в полном подчинении. Как было принято в старое время, Марию родители выдали за Птицына по сватовству. А она любила другого парня, и он тоже её любил. После её свадьбы он застрелился на кладбище. Поползли слухи, и молодым пришлось уехать в другой город.

Когда в семье было уже четверо детей, прадед решил построить дом побольше и подальше от фабрики. Продали старый дом за керенки. Власть сменилась, керенки тоже. Построить большой дом было уже не на что. И был построен маленький домишко. Как они там все ютились – непонятно.

Мама писала, что всегда ощущала неприязнь деда и бабки. Они были против женитьбы сына Семёна на ткачихе из корпусов. Но тот не только нарушил родительскую волю, но и привёл корпусную сноху в их дом.

Семён был коммунистом. И его часто посылали в разные точки страны налаживать работу советских органов. Семья ездила с ним, потому что оставаться в тесном доме со злыми стариками было тяжело.

Сначала жили в Фергане. Мама ничего не запомнила. Только рассказы родителей, что там было так жарко, что приходилось всё время смачивать полы водой и спать на влажных простынях.

После Ферганы Семён некоторое время работал директором ресторана «Бристоль» в Ярославле. Роза запомнила, как они с мамой приходили к отцу на работу. Запомнила красивую лестницу, светлый зал. Повара выходили посмотреть на них и угощали девочку пирожными.

Потом Семёна перевели в Свердловск. Там Роза пошла в 1-й класс. Она пишет: *«Помню, водили нас на экскурсию в Ипатьевский подвал, где расстреляли царя с семьёй. Нам втолковывали, что так им и надо. Мы смотрели на следы от пуль на стене и говорили: «Так им и надо!» Такое было время, бессердечное».*

А в 4-м классе Роза уже училась в Ярославле. В летние каникулы в старших классах школьников посылали в колхозы с июля по октябрь. И ещё работали, кроме колхоза, на заготовках торфа – на Ляпинке.

После 8-го класса мальчиков взяли в армию, девочек, что учились неважно, направили работать на завод «Пролетарская свобода». Из девочек, что учились хорошо и отлично, составили несколько классов. Выпускной пришёлся на самый разгар войны, отметили хлебом и чаем.

Мама вспоминала, как во время войны несколько раз бомбили и в Ярославле – заводы и станцию. В конце их улицы на лугу стояла зенитная батарея, несколько орудий. Обслуживали её мобилизованные девчата. Во время налётов, они стреляли из зениток по вражеским самолётам, но ни разу не попали.

Мама пишет, что однажды, когда она шла из школы, в небе появились немецкие бомбардировщики. Они летели по 3 в ряд, всего 9 штук – на железнодорожный узел Всполье. *«Я так испугалась, скатилась в канаву, сняла красный берет, думала, что меня в нём обязательно увидят. Долетели они до Всполья, и посыпались из них «яички», загрохотали взрывы. Потом развернулись боком, я даже увидела лётчика, а на крыльях – кресты».*

Ещё мама описывала такой эпизод из войны. Девчата из зенитной батареи были расквартированы по домам на их улице. Главным у них был старшина лет 45. Одна из зенитчиц жила и в нашем доме. Через некоторое время она сказала, что демобилизуется по причине беременности. В этом ей помог старшина. И, как выяснилось, не ей одной. Хозяйка дома, где квартировал бравый старшина, тоже потом родила от него девочку Таню.

Когда немцы подошли к Москве, и все ждали, что они вот-вот появятся и в Ярославле, то Роза очень боялась за своего отца. Она вспоминает, как соседка тётя Маня Козлова всё время им кричала: «Вот придут немцы – выдадим вашего отца-коммуниста!»

Отец Розы, Семён, в войну служил интендантом эвакпоезда, который ходил из Бологого в Свердловск. Если поезд на Всполье зимой останавливался, то Семён через Которосль прибегал домой. Приносил гостинец: то копчёной колбаски, то маслица – это был праздник. Всё съедалось тут же, так как он приносил очень немного. А потом кто-то донёс на него. Пришли с обыском. Но ничего не нашли. Как пишет мама: *«Отец был честнейший человек и не позволил бы сделать что-то противозаконное, хотя его собственная семья голодала».*

В войну погибли дяди Розы с маминой стороны – Владимир, Архип, Костя, тётка Варвара. С отцовской стороны – дядя Иван. Он был машинистом, случайно сбил водоналивную воронку – его за это сочли врагом народа и уничтожили. У дяди Ивана было двое сыновей: один – музыкант, играл в ресторане «Бристоль», другой – художник.

Мама окончила зубоврачебную школу, и её распределили в маленький посёлок в Курганской области. *«В Западной Сибири, –* пишет мама*, – я с удивлением смотрела на толстых женщин – в Ярославле таких уже давно не было».*

Её поселили в доме на территории больницы. Ночью, когда привозили больного с острым животом, вызывали в операционную давать наркоз. *«Насмотрелась на всякие операции. А наркоз примитивный: капаешь эфир на маску, и сама надышишься».*

Жила мама в том посёлке, конечно, очень скучно. Это – дыра дырой. И вот на праздник – день Октябрьской революции – пришёл к ним молодой человек в тельняшке. И она всё на эту тельняшку заглядывалась, потому что в Ярославле у неё остался молодой человек – моряк. А тот, видимо, подумал, что девушка на него смотрит. И начал за ней ухаживать. Так познакомились мои родители.

Когда мне было пять лет, мама с ним поссорилась, взяла нас с братом и вернулась в Ярославль, в родительский дом.

Отец приезжал сюда. Я его не помню. Мама только рассказывала, что он безумно меня любил и, когда я болела, всю ночь стоял под окнами. Но жизнь у них так и не сложилась. У мамы такой характер суровый. Папа завербовался в Магадан. И не вернулся, рано умер.

Я несколько лет ходила в театральный кружок в Доме культуры, к Марье Макаровне. Она была известная личность. Я пришла в танцевальный, а она меня увидела и сказала: «Ой, девочка, приходи ко мне. На Новый год – я тебе роль Снегурочки дам». Я, конечно, клюнула: «О, я звезда буду!». Это, наверное, класс 5-й.

На ёлки я несколько лет как на работу ходила. В 9 утра, в час и в 4. Страшновато было потом домой возвращаться. Последняя ёлка заканчивалась уже в темноте. А я, девчонка, бегу, дрожу! Хорошо помню этот страх. Однажды был случай. Я иду, лет 12-13 мне. И два мужика навстречу. А у них здоровая собака – овчарка. Ну, я прошла мимо, иду дальше. И вдруг меня как сшибут сзади! Собаку натравили на меня – и смеются! На ребёнка, на девчонку. Я упала, сильно испугалась. Они ржут. А я что? Дальше побежала.

Кроме этого, ещё были спектакли. Помню, играла Зою Космодемьянскую. Мне мама нашла отцовские ватные штаны, фуфайку, шапку. Я такая вся героическая, такие стихи Выхожу – а в зале смех! Потому что дети увидели, что я как чучело огородное одета. Сейчас мне, конечно, смешно, а тогда было очень обидно!

Я даже думала в театральное поступать. Но потом как-то я повзрослела, и в 10-м классе думаю: «Да какая я артистка?! Нет, не пойду».

Замуж вышла очень рано. Дочка родилась. Совсем малюсенькую пришлось в ясли отдать. Раньше ведь декрет давали – один месяц, это не сейчас. Муж – студент, бабушки – молодые. Куда ребёнка девать? Она стала там болеть. Помню, заберу, даю ей печенье, а она прямо трясётся: голодная целый день! Что там? Кто рот открыл – тому дали, кто не открыл – тот мимо каши проехал.

Я была в комсомоле. И вот, помню, приходит к нам заявка: на фабрику выделить трудовой десант. И мне надо всех уговорить, чтоб поработали каждый по 2 недели или даже по месяцу на фабрике. Никто не хочет. Мы ведь никогда не работали. Только за столами сидели, литературу изучали. И вот я уговариваю, уговариваю. И сама, конечно, в первую очередь иду.

Я вообще никогда производства не видела! Всё гремит, стучит, уши закладывает. Этот крутильный цех, там крутятся шпули, на них нитки накручиваются. Где-то шпули накрутились, надо бежать, эту снимать, новую ставить. А у меня же никакой практики нет. Я бегаю. Встал один станок, другой. У меня паника! Женщины, которые там работали, конечно, очень душевные, хорошие. Видят, девчонка с вытаращенными глазами – они своё бросают, мне помогают.

Я там на 5 килограммов похудела! Месяц проработала и думаю: а ведь, правда, на фабрике толстых нет, все худые. Очень тяжёлая работа. Кто это назвал лёгкой промышленностью? Удивительно. Очень тяжёлая работа.

**НАДЕЖДА: мясо и молоко**

И вот революция, а бабушке Кате надо семью кормить, и она поехала к себе в село мясо купить. Мясо-то купила, а как до дома довезти? Зелёные шарятся по поездам, белые, красные туда-сюда с пулемётами бегают. И бабушка обвязалась этим ледяным мясом вокруг живота. Мясо-то она привезла, но заболела двухсторонней крупозной пневмонией. Тогда это заболевание было неизлечимым, и бабушка умерла. Она похоронена в братской могиле. На памятнике написано, что тут лежат жертвы революции. Была традиция так хоронить, когда негодные годы, когда трудно. Людей не распределяли по могилам отдельным.

После смерти бабушки Иван Абрамович взял в жёны её подругу – Полю, потому что семью надо было поднимать, ставить на ноги детей. Поля была кухаркой в каморках. В каждом корпусе стоял титан, где воду нагревали. Это сейчас чайник включил и вскипятил. А раньше-то рабочий пришёл домой, он 12 часов отработал на фабрике, ему попить, поесть надо. И вот на общей кухне в корпусах служили кухарки, они следили за чайниками, за печами.

А в войну тётя Поля работала медсестрой в военном госпитале. Иван Абрамович к тому времени уже умер. И тётя Поля в этом госпитале познакомилась с одним раненным. И так они влюбились друг в друга, что она ушла за ним на войну. А он разведчиком был, ноги ему потом отрезали. Но они, как два лебедя, шли по жизни, не отпуская друг друга. До самого конца. Я такого никогда не видела. Детей у них не было.

Когда маме 16 лет стукнуло, она невеститься стала – надо нарядить. И тогда в Торгсин отнесли серёжки, которые от бабушки Кати остались. Такой обычай был: когда бабушка умерла, её серёжки вставили двухлетней маме, чтобы сохранить и чтобы память была. Ну, а в 16 лет снесли их в Торгсин и купили на вырученные деньги ткань-шотландку, модную тогда, сшили ей наряд. И мама в девках не засиделась, в 18 лет уже была замужем за папой. Она очень любила танцевать, а он играл на гитаре. Когда мама рожала первенца, папу не могли дозваться, он был увлечён игрой на гитаре. И вот ему вынесли Колю, он и говорит: «А чё голова-то огурцом?». Не хотел признавать, а ему говорят: «Да выправится».

Коля умер очень быстро – упал. В детском саду с двухъярусной кровати. Упал – пятнышко чёрное на лице. Три годика ему было. Умирал тяжело в больнице. Мама рассказывала, что пока она лежала на одной кровати с Колей, рядом женщину морили от червей, которые живут в человеке. Вот он пошёл этот червь, а врачей рядом нет, и маме пришлось вытаскивать этого червя, а Коля в это время умер.

Ну и покатились дальше дети. Нина родилась перед войной. Галя, когда настала война. Вот они на фотографии: Нина в зелёной кофте, Галя – в синей.

Папу забрали на фронт. Два года в окопах простым солдатом. Наступление, отступление. Списали его от истощения крайнего, сказали, не жилец. Дома врачи посмотрели, говорят: «Неоперабельный, идите живите, сколько наживёте». А у мамы детей мал мала меньше. Что делать?

У нас в корпусе жили сёстры-анестезиологи. Тогда был такой профессор Хасан, очень известный. И одна из этих сестёр сказала, что папа – её двоюродный брат, и тогда ему сделали операцию. Потом профессор Хасан сказал: «Коля, ещё лет десять поживёшь».

Но Коля пожил ещё 30 с лишним лет. Поставила его на ноги мама. Мама тогда как раз родила Галю, и у неё было грудное молоко. И она папу отпаивала этим молоком. Он едва окреп – снова ушёл на войну. Вернулся только в 1946. Был на Дальнем Востоке, воевал там.

После войны все пришли такие... Люди отпускали страх, боль. Где-то за пределами меры, может быть. И женщины брали всё на себя, чтобы поддержать этих мужчин послевоенных.

Папа даже не ругался матом. У него такое слово было ругательное почему-то – «аккордеон». А сам-то аккордеон появился уже позднее в обиходе.

Папа плясал очень интересно, по-скоморошьи. Всякие коленца выбрасывал – в памяти это осталось.

Но попадались и всякие *изморы*. Например, однажды в каморку, когда мама работала, зашла женщина. И ведь все знали, что у мамы куча детей, больной муж, но нет. Та женщина детям и говорит: «Мама вам велела собрать мыло и всё прочее, ей надо в больницу».

Старшая Нина, естественно, для мамы всё собрала, она знала, где что лежит. А на сковородке стояли очистки, то есть даже не сама картошка, очистки жареные ели. И та женщина взяла всё, что Нина собрала, да ещё и эту сковородку с очистками прихватила. Чугунная сковородка в той жизни тоже была большая ценность.

Или вот ещё история. В войну многие из города ездили менять в деревни соседние. Конечно, деревенским тоже было нелегко, но у них была корова-кормилица, а на фабрике ведь тряпкой не зажуёшь. Хотя за тряпку, за кусок ткани можно было попасть в места не столь отдаленные и провести там достаточно времени.

И вот люди повезли богатство, какое у них было, по белу свету: платки, самовары. Всё ценное. И поехала мама с Варюшкой, со старшей своей сестрой. А по дороге к ним привязались цыгане, и обворовали Варюшку подчистую. Мама, что обменяла, поделила пополам. Не звери же.

Потом уже по лету мама пошла меняться с Ниной вдвоём. Обменяли они товар свой на молоко. А Нина по дороге этот бидон взяла и обронила.

Наш дом был всегда открыт. Мама пироги пекла, такие вкусные, как только она умела. И пироги не переводились, хотя и печь-то было не из чего. Голь на выдумки хитра. И с ягодой, и с картошкой, и с капустой, и с творогом, и просто колобушки-преснухи. Очень мы любили эти преснухи.

Это было какое-то таинство. Мама сначала приберёт дом, весь намоет, на руках детей отнесёт, положит спать. Потом затворит тесто. Тесту надо выходиться, это долгий процесс. И ночью мама начинала печь, когда все спят.

Где она брала силы, не знаю. Просто она любила свой дом, жизнь эту любила, отдавала всю себя в семью.

Мама была партийная, но на Пасху всегда куличи пекла. Родовые иконы хранились в шкафу, завёрнутые в тряпочку. Мама росла в 1920-е годы. Рассказывала: «Тятька даст на свечку, а мы на эти деньги бежим в кино».

Я тринадцатая по рождению, но родить и поставить на ноги – это разные вещи. Мама поставила на ноги шестерых.

Мама рассказывала, как её сестру Варю замуж выдавали. Варя стояла у горки и плакала: «Тятька, не выдавай замуж, он мне не люб». Но её посадили в карету и повезли в Фёдоровскую церковь венчаться.

А на следующий день мама в гости поутру к ним пришла. Самовар кипит, пахучих блинов напечено. И вдруг шум, трам-бам-парарам. Смотрю, говорит, милые бранятся. И она тихонечко домой пошла. А на другое утро Варвара с узелком стоит. Но Иван Абрамович ей так сказал: «Вот Бог, а вот порог. Ты просватанная, моё слово крепкое, и назад тебе возврата нет, ищи другой угол».

И Варя ушла и сошлась с Лёшей Охапкиным. Дело ведь уже после революции было, нравы посвободнее.

Трудно представить, как всё было устроено раньше. Например, знаете, что считалось величайшим счастьем? Попасть на *место мамки* – то есть, чтобы тебя взяли на фабрику именно на то место, где работала твоя мама. Вот мою маму взяли *банкоброшницей* так же, как бабушку Катерину Ивановну. И мама была счастлива всю жизнь от этого.

Сейчас невозможно представить себе, чем была фабрика для рядового рабочего. Это как для крестьянина корова. Фабрику называли кормилицей, слагали о ней песни, относились к ней как к одушевлённой. Мы ни к чему сейчас так не относимся. Просто раньше были другие люди.

1. Пьеса основана на интервью с работниками фабрики «Красный Перекоп» (Ярославль) и их потомками, взятых в рамках проекта «Фабричный круг» [↑](#footnote-ref-1)